

КНИГА I



ВАШИНГТОНСКАЯ
ПЛОЩАДЬ

ГЛАВА 2

Он не думал, что сможет уснуть, и в самом деле лежал без сна, как ему казалось, много часов, понимая, что одновременно грезит и бодрствует; он чувствовал под собой накрахмаленный хлопок простынь и знал, что поза, в которой он лежит — левая нога согнута и образует треугольник с правой, — даст о себе знать на следующий день онемелостью, неловкостью. И все-таки он, видимо, уснул, потому что, открыв глаза, увидел полоску света между шторами, которые не вполне сходились, слышал цоканье копыт по мостовой и как за дверью горничные трут пол и передвигают ведра.

Понедельники всегда были ему тягостны. Страх, поселявшийся в нем с вечера, не проходил, и обычно он старался встать пораньше, даже до того, как встанет дедушка, как будто он тоже вливается в деятельный поток, оживляющий жизнь большинства людей, как будто у него, как у Джона, Питера, Иден, есть обязанности, которые необходимо выполнять, или, как у Элизы, есть места, куда необходимо поехать, как будто перед ним не лежит бесформенный день, такой же, как и все другие дни, который он сам должен чем-то заполнить. Не то чтобы он был никем, формально он возглавлял благотворительный фонд фирмы, именно он одобрял выплаты тому или иному лицу или организации, которые в совокупности представляли собой что-то вроде семейной истории: лидеры сопротивления, ведущие борьбу на Юге, благотворительные организации, объединяющие беженцев и предоставляющие им жилье, разные группы, ратующие за образование негров и против жестокого обращения с детьми, обучающие бедняков, дающие приют толпам эмигрантов, ежедневно прибывающих к нашим берегам, представители народов, с которыми сталкивался тот или иной член семьи и, проникшись их участью, теперь помогал им по мере сил, — но все-таки его ответственность не простиралась дальше подписания чеков, одобрения ежемесячных столбцов цифр, расходов, которые уже были представлены бухгалтерам и юристам фирмы его секретаршей, деловитой молодой женщиной по имени Альма — она практически управляла фондом; он нужен был только как носитель своего имени, Бингем. Он также участвовал доброволь-

цем в разной благотворительной деятельности, подходящей еще молодому человеку из хорошей семьи: собирал коробки с бинтами, перевязочными материалами и травяными снадобьями для бойцов в Колониях, вязал носки бедным, раз в неделю учил рисованию воспитанников сиротской школы, которой покровительствовала его семья. Но все эти занятия, вместе взятые, не составляли и недели в месяц, а остальное время он влачил одинокое и бесцельное существование. Иногда ему казалось, что жизнь — это то, что необходимо преодолеть, и в конце дня он залезал в постель со вздохом, осознавая, что миновал еще небольшую часть существования, еще на сантиметр продвинулся к естественному его завершению.

В это утро, однако, он был рад, что проснулся поздно, потому что до сих пор не понимал, как истолковать события вчерашнего вечера, а теперь можно будет обдумать их на свежую голову. Он позвонил, и ему принесли яйца, тосты и чай, позавтракал в постели, читая утренние газеты: еще какие-то беспорядки в Колониях, детали неясны; завиральное эссе эксцентричного филантропа с довольно радикальными взглядами, задающего вопросом, не следует ли предоставлять гражданство неграм, которые жили на территории Свободных Штатов еще до их провозглашения; длинная статья, уже девятая за последние девять месяцев, восславляющая десятую годовщину завершения строительства Бруклинского моста, рассуждающая о том, как мост изменил движение коммерческого транспорта, на этот раз с большой, тщательно выписанной иллюстрацией, изображающей его массивные пилоны, нависающие над рекой. После этого он умылся, оделся и вышел из дому, предупредив Адамса, что будет обедать в клубе.

День был прохладным и солнечным, позднее утро пружинило веселой энергией: было еще достаточно рано для трудов и надежд — возможно, именно сегодня жизнь сделает крутой и долгожданный поворот к чему-то прекрасному, выпадет внезапная удача, закончится южный конфликт или, может быть, на ужин вдруг подадут два ломтика бекона вместо одного — и все-таки не так поздно, чтобы эти надежды снова показались пустыми. Он часто шел без определенной цели, давая ногам самим выбирать направление, и теперь повернул направо на Пятую авеню, кивнув на ходу извозчику, который запрягал бурую лошадку у каретного двора.

Дом. Сейчас, не находясь в его стенах, он надеялся поразмышлять о нем более беспристрастно, хотя что значит “беспристрастно”? Раннее детство он провел не в этом доме, как и все они, — эта честь выпала большому холодному особняку на севере, к западу от Парк-авеню. Но в дом на Вашингтонской площади он с сестрой и братом и их родители до них приезжали на важные семейные сборы, и когда родители умерли, когда их унесла болезнь, всех троих перевезли сюда. Им пришлось оставить в старом доме все, что было сделано из ткани или бумаги, все, в чем могли таиться блохи, все, что можно было сжечь; он помнил, как рыдал о кукле из конского волоса, которую осо-

бенно любил, и дедушка обещал купить точно такую же, и потом как они все трое вошли каждый в свою комнату на Вашингтонской площади, их прежняя жизнь была восстановлена для них в малейших деталях — их куклы, игрушки, одеяла, книжки, их коврики, платья, пальто, подушки. На гербе братьев Бингем было начертано *Servatur Promissum* — “Держать слово”, — и в этот момент дети поняли, что девиз относится и к ним тоже, что дедушка выполнит любое свое обещание, и за те два десятка лет, которые они были на его попечении сначала детьми, потом взрослыми, он никогда не изменял своему слову.

Дедушка настолько несомненно оставался хозяином положения в той новой жизни, в которой они очутились, что позже Дэвиду казалось, будто их горе почти немедленно закончилось. Конечно, на самом деле так не могло быть, ни у него, ни у сестры и брата, ни у дедушки, внезапно потерявшего свое единственное дитя, но Дэвид был настолько потрясен абсолютной нескрушимостью дедушки, его полной властью над их маленькой вселенной, что теперь не мог думать о тех годах иначе. Все сложилось так, как будто дедушка всегда, с самого их рождения, предполагал стать однажды их опекуном и перевезти их в свой дом, где он до этого жил один, единолично определяя ход своей жизни; словно все это не свалилось на него внезапно. Позже у Дэвида появилось ощущение, что дом, и без того просторный, отразил новые комнаты, новые крылья и ниши, которые словно по волшебству явили себя специально для них, и комната, которую он до сих пор называл своей (и в которой жил сейчас), соткалась из воздуха, из необходимости в ней, а не была переделана из какой-то заброшенной малой гостиной. Все эти годы дедушка говорил, что внуки вдохнули в дом жизнь, что без них он был бы просто нагромождением комнат, и, к его чести, все трое детей, даже Дэвид, поверили в это и были искренне убеждены, что преподнесли дому — а значит, и самой дедушкиной жизни — драгоценный и важный дар.

Он полагал, что каждый из них считал дом своим, но ему нравилось вообразить, что по-настоящему это именно его логово, место, где он не просто живет, но где его понимают. Теперь, будучи взрослым, он иногда осознавал, как видится дом со стороны: хорошо организованное и вместе с тем эксцентричное пространство, наполненное вещами, которые дедушка собирал во время своих путешествий по Англии и континенту, и даже в Колониях, где он провел некоторое время в короткий мирный период, — но в основном Дэвид видел дом так же, как в детстве, когда мог проводить часы, перемещаясь с этажа на этаж, выдвигая ящики и открывая дверцы буфетов, заглядывая под кровати и диваны, чувствуя голыми коленями прохладную гладкость деревянных половиц. Он ясно помнил, как маленьким мальчиком лежал в кровати однажды поздним утром, наблюдая, как свет струится в окно, и понимая, что его место — здесь, и эта мысль внушала успокоение. Даже позднее, когда он не мог выйти из дому, из этой комнаты, когда жизнь его

оказалась ограничена кроватью, дом продолжал казаться убежищем: стены не только сдерживали все ужасы мира, но и не давали распасться ему самому. Теперь дом будет принадлежать ему, а он дому, и Дэвид впервые почувствовал, что стены давят на него — теперь отсюда нет выхода, дом владеет им не меньше, чем он домом.

Такие мысли занимали его, пока он шел к Двадцать второй улице, и хотя ему вовсе не хотелось в клуб — он бывал там все реже и реже, не желая встречаться с бывшими соучениками, — голод заставил Дэвида войти внутрь, где он заказал чай, хлеб и колбаски и быстро съел все это, после чего снова зашагал на север, вдоль всего Бродвея, к южной части Центрального парка, и только потом повернулся и пошел домой. Когда он вернулся на Вашингтонскую площадь, было уже начало шестого, небо снова окрасилось темно-синим — оттенок одиночества, и он только успел переодеться и привести себя в порядок, как услышал внизу голос дедушки, который что-то говорил Адамсу.

Он не ожидал, что дедушка заговорит о событиях вчерашнего вечера, особенно в присутствии слуг, но даже когда они перешли к напиткам и остались одни в дедушкиной гостиной, дедушка продолжал говорить только о банке, о повседневных делах, о новом клиенте — владельце целого флота кораблей с Род-Айленда. Мэтью принес чай и бисквитный торт, густо покрытый ванильной глазурью; кухарка специально для Дэвида украсила его полосками засахаренного имбиря, к которому он питал слабость. Дедушка съел свой кусок аккуратно и быстро, но Дэвид не мог толком насладиться тортом, потому что все ждал, когда же дедушка упомянет вчерашнюю беседу, и боялся, что сам случайно сболтнет что-нибудь лишнее, как-то обнаружит свои смешанные чувства, покажется неблагодарным. Наконец дедушка, дважды пыхнув трубкой, сказал, не глядя на него:

— Дэвид, я хотел с тобой обсудить еще кое-что, но, конечно, не во вчерашней суете.

Здесь было бы уместно еще раз сказать спасибо, но дедушка отмахнулся, пуская дым из своей трубки:

— Не надо благодарностей. Дом твой. Ты ведь его любишь.

— Да, — начал Дэвид, все еще думая о тех странных чувствах, которые испытывал сегодня на прогулке, когда несколько кварталов шел, пытаясь понять, отчего перспектива получить дом наполняет его не чувством безопасности, а паникой. — Но...

— Но что? — спросил дедушка, теперь уже на его лице читалось странное выражение, и Дэвид, боясь, что в голосе его прозвучало сомнение, торопливо продолжил:

— Я только беспокоился об Иден и Джоне, вот и все.

На это дедушка лишь снова махнул рукой.

— С Иден и Джоном все будет в порядке, — бросил он отрывисто. — Тебе нечего о них беспокоиться.

— А тебе нечего беспокоиться обо мне, дедушка, — сказал он с улыбкой, на что дедушка ничего не ответил, и оба они смутились от лжи такой огромной и очевидной, что даже приличия не требовали возражений.

— Для тебя есть брачное предложение, — нарушил молчание дедушка, — хорошая семья, Гриффиты из Нантакета. Они начинали, конечно, как кораблестроители, но теперь у них собственный флот и небольшая, но прибыльная меховая торговля. Джентльмена зовут Чарльз, он вдовец. Его сестра — тоже вдова — живет с ним, они вместе воспитывают ее троих сыновей. Торговый сезон он проводит на острове, а зимой живет на Кейп-Коде. Сам я не знаком с этой семьей, но у них очень хорошее положение в обществе — связи с местным правительством, а брат мистера Гриффита, который вместе с ним и с сестрой управляет их делами, председатель торгового товарищества. Есть еще одна сестра, она живет на Севере. Мистер Гриффит самый старший из всех, родители их живы, бизнес начали бабушка и дедушка с материнской стороны. Предложение поступило к Фрэнсис через их юристов.

Дэвид почувствовал, что должен что-нибудь сказать.

— Сколько лет джентльмену?

Дедушка прочистил горло и неохотно ответил:

— Сорок один.

— Сорок один! — воскликнул Дэвид с большим ужасом, чем намеревался. — Простите. Но сорок один год! Он же старик.

На это дедушка улыбнулся.

— Не совсем, — ответил он. — Не для меня. И не для большинства людей в мире. Но да, он старше. Старше тебя, по крайней мере. — Дэвид ничего не ответил, и дедушка продолжал: — Дитя мое, ты знаешь, я не хочу женить тебя против твоей воли. Но мы с тобой это обсуждали, ты проявил интерес, иначе бы я не стал рассматривать их предложение. Сказать Фрэнсис, что ты отказываешь? Или все-таки назначить встречу?

— Я чувствую, что становлюсь тебе в тягость, — пробормотал он наконец.

— Нет, не в тягость, — ответил дедушка. — Как я и говорил, ни один из моих внуков не будет вынужден жениться, если сам не захочет. Но мне кажется, ты мог бы подумать об этом. Мы не обязательно должны ответить прямо сейчас.

Они сидели в молчании. На самом деле прошло много месяцев — около года — с тех пор, как кто-либо проявлял интерес, не говоря о предложении, хотя Дэвид не знал, потому ли это, что он с такой поспешностью и безразличием отверг двух последних кандидатов, или же просочились слухи о его недомогании, которое они с дедушкой так тщательно скрывали. Идея женитьбы и в самом деле его в какой-то мере пугала, но разве предложение от совсем незнакомой семьи — не повод для беспокойства? Да, они, конечно, занимают подобающее положение — будь это не так, Фрэнсис бы не посмела передать предложение дедушке, — но это значило также, что дедушка и Фрэнсис решили выйти за пределы круга людей, которых Бингеми знали, с кото-

рыми общались, — тех пятидесяти с лишним семей, которые построили Свободные Штаты, среди которых не только он, его брат и сестра, но и родители и дедушка провели свою жизнь. К этому маленькому сообществу принадлежали и Питер, и Элиза, но уже стало очевидно, что он, старший брат и наследник, вознамерившись жениться, вынужден будет выбрать спутника жизни за пределами этого золотого круга, ему придется искать себе пару среди чужих. Бингемы не были высокомерны, не отгораживались, они не относились к тем, кто не станет иметь дело с купцами и торговцами, с людьми, которые начали свою жизнь в одном общественном слое, но благодаря трудолюбию и способностям оказались в другом. Так могла бы вести себя семья Питера, но не они. И все же он не мог не чувствовать, что подводит семью и что наследие его предков, ради которого они так неустанно трудились, будет умалено по его вине.

И еще он чувствовал, несмотря на уверения дедушки, что нельзя сразу отклонить предложение. Он сам был виноват в своем нынешнем положении, и само появление Гриффита говорило о том, что возможности его не бесконечны, даже при их имени и деньгах. Поэтому он сказал дедушке, что согласен на встречу, и дедушка — вот это выражение на его лице, что это, как не плохо скрытое облегчение? — ответил, что немедленно сообщит Фрэнсис.

Он как-то сразу устал и, извинившись, ушел к себе. Хотя комната неузнаваемо изменилась по сравнению с тем временем, когда он сюда вселился, он знал ее так хорошо, что легко ориентировался в темноте. Вторая дверь вела в помещение, которое они с братом и сестрой использовали когда-то для игр, теперь это был его кабинет, и именно туда он отправился с конвертом, который дедушка дал ему, прежде чем попрощаться на ночь. Внутри была небольшая гравюра — портрет Чарльза Гриффита, — и он принялся пристально разглядывать ее при свете лампы. Мистер Гриффит был светловолос, со светлыми бровями, мягким округлым лицом, с пушистыми, хотя и не чрезмерно пышными усами; Дэвид видел, что он коренаст, даже по этому изображению, которое показывало только лицо, шею и разворот плеч.

Внезапно его охватила паника, он подошел к окну, быстро отворил его и вдохнул холодный, чистый воздух. Уже поздно, вдруг понял он, гораздо позднее, чем ему казалось, внизу ни души. Неужели ему предстоит покинуть Вашингтонскую площадь, хотя только что он с тягостным чувством воображал, что, возможно, останется здесь навсегда? Он повернулся и оглядел комнату: полки с книгами, мольберт, письменный стол с бумагой и чернилами, кушетка, которую он приобрел еще в студенческие годы, чья алая обивка несколько обтрепалась с годами, шарф из мягчайшей шерсти с вышитыми турецкими огурцами — дедушкин подарок на позапрошлом Рождество, специально заказанный из Индии, — все здесь было устроено для его удобства, или удовольствия, или для того и другого; он попытался представить себе каждый предмет в деревянном доме в Нантакете — и себя там.

Но не смог. Место этим вещам было здесь, в этом доме, как будто дом сам их вырастил, как будто они были живыми и могли зачахнуть и умереть, если переместить их. А потом он подумал: разве не так же обстоит дело и со мной? Ведь и меня этот дом если не породил, то вскормил и вырастил? Если покинуть Вашингтонскую площадь, как найти себе место в этом мире? Как покинет он эти стены, которые неизменно, безотрывно смотрели на него в любом его состоянии? Как покинет он эти половицы, которыми поскрипывал дедушка среди ночи, сам принося ему бульон или лекарство в те месяцы, когда он не мог выйти из комнаты? Это место не всегда было радостным. Иногда оно было ужасным. Но какой еще дом сможет он чувствовать настолько своим?